**Воспоминания князя Д.А. Оболенского о первом издании посмертных сочинений Гоголя**

По материалам книги

Гоголь в воспоминаниях современников. Под общей редакцией Н.Л. Бродского, Ф.В. Гладкова, Ф.М. Головиченко, Н.К. Гудзия

Интернет-версия доступна по ссылке <http://rulibrary.ru/gogol/vospominaniya_sovremennikov_o_n__v__gogole/303>

Автор вариантов «Мёртвых душ» отыскался; г. Ястржембский многократно печатно заявил, что не ожидал от своей литературной шалости таких серьёзных последствий; что читающая публика введена в заблуждение помимо его воли и желания и что, наконец, опубликованные варианты всецело принадлежат перу его − г. Ястржембского. Некоторые, однако, продолжают относиться к этому заявлению с недоверием и, по-видимому, остаются в убеждении, что варианты эти писаны Гоголем. Признаюсь, меня мало интересует знать, сам ли г. Ястржембский сочинил эти варианты или кто другой; для меня несомненно только, что все, сколько-нибудь знавшие лично покойного Гоголя и знакомые с историей издания его посмертных сочинений, согласятся со мной в том, что опубликованные в «Русской старине» (в январе 1872 г.) варианты «Мёртвых душ» писаны не Гоголем.

Не касаясь здесь содержания этих вариантов и слога их, носящих явные признаки неудачной подделки под манеру Гоголя, − материально невозможно, чтобы в чьих-либо руках могла находиться рукопись второй части «Мёртвых душ», не согласная с теми вариантами, которые изданы были в 1855 году Трушковским, а впоследствии г. Кулишом.

Судьба привела меня быть одним из участников в хлопотах и заботах об издании посмертных сочинений Гоголя. Смею думать, что правдивый рассказ о ходе всего этого дела не лишён интереса и может послужить к разъяснению возникших недоразумений.

По необходимости я должен начать рассказ свой с свидания моего с Гоголем в 1849 году.

В первых числах июля месяца 1849 года, проездом через Калугу в имение отца моего, я застал Гоголя, гостившего у А.О. Смирновой, и обещал ему на обратном пути заехать за ним, чтобы вместе отправиться в Москву.

Пробыв в деревне недолго, я в условленный день прибыл в Калугу и провёл с Гоголем весь вечер у А. О. Смирновой, а после полуночи мы решили выехать.

С Гоголем я познакомился ещё в 1848 году летом в Москве, и мы видались часто. Родственные мои отношения к графу А.П. Толстому, у которого Николай Васильевич в то время жил в Москве, и дружба моя с кругом людей, которых Гоголь, по справедливости, считал самыми близкими своими друзьями, расположили его в мою пользу, и он не раз выказывал мне знаки своего дружеского внимания. Оттого ли, что неожиданно представилась ему приятная оказия выехать в Москву, куда торопился, или от другой причины, только помню, что весь вечер Гоголь был в отличном расположении духа и сохранил его во всю дорогу. Живо справил он свой чемоданчик, заключавший всё его достояние, − но главная забота его заключалась в том: как бы уложить свой портфель так, чтобы он постоянно оставался на видном месте. Решено было поставить портфель в карете к нам в ноги, и Гоголь тогда только успокоился за целость его, когда мы уселись в дормез и он увидел, что портфель занимает приличное и безопасное место, не причиняя, вместе с тем, нам никакого беспокойства.

Портфель этот заключал в себе только ещё вчерне оконченный второй том «Мёртвых душ» [Первая глава была, кажется, совершенно уже отделана, потому что он читал её за несколько дней до нашего выезда из Калуги А.О. Смирновой. Помню, что А.О. Смирнова была в восхищении от этой главы и говорила, что влюблена в Тентетникова. По возвращении в Москву, Гоголь писал ей и кончил письмо словами «кланяется вам Тентетников!»]

Читатели моего поколения легко могут себе представить, с каким чувством возбуждённого любопытства смотрел я всю дорогу на этот портфель.

Чем был для молодых людей нашего поколения Гоголь − о том с трудом могут судить люди новейшего времени [Некоторые позднейшего времени статьи о Гоголе могут служить доказательством, какая бездна отделяет понимание Гоголя новейшими критиками от того непосредственного, живого и могучего влияния, которое Гоголь действительно имел на нравственное развитие современной ему молодёжи. Здесь не место протестовать против странной оценки социальных и политических убеждений Гоголя; здесь не место разбирать, кто из современных писателей глубже и шире относится к жизненным вопросам общества. Скажу только, что поколение, выработавшее и осуществившее все реформы последнего десятилетия, воспитано Пушкиным и Гоголем и приготовлено их нравственным влиянием к деятельности и плодотворному труду, хотя ни Пушкин, ни Гоголь не написали ни одного трактата о какой-либо реформе и не переносили на русскую почву социального бреда иноземных мыслителей.].

Я принадлежал к числу тех поклонников таланта Гоголя, которые и после издания его «Переписки с друзьями» не усомнились в могучей силе его дарования.

Из рассказов графа А.П. Толстого, которому Гоголь читал ещё вчерне отрывки из второй части «Мёртвых душ», я уже несколько знал, какой серьёзный оборот должна принять поэма в окончательном своём развитии. Письма самого Гоголя о «Мёртвых душах» подготовляли также публику к чему-то неожиданному. Все это усиливало моё любопытство, и я, пользуясь хорошим расположением духа Гоголя и скверной дорогой, мешавшей нам скоро уснуть, заводил на разные лады разговор о лежащей в ногах наших рукописи. Но узнал не многое. − Гоголь отклонял разговор, объясняя, что много ещё ему предстоит труда, но что чёрная работа готова и что, к концу года, надеется кончить, ежели силы ему не изменят. Я выразил ему опасение, что цензура будет к нему строга, но он не разделял моего опасения, а только жаловался на скуку издательской обязанности и возни с книгопродавцами, так как он имел намерение, прежде выпуска второй части «Мёртвых душ», сделать новое издание своих сочинений.

К утру мы остановились на станции чай пить. Выходя из кареты, Гоголь вытащил портфель и понёс его с собою, − это делал он всякий раз, как мы останавливались. Весёлое расположение духа не оставляло Гоголя. На станции я нашёл штрафную книгу и прочёл в ней довольно смешную жалобу какого-то господина. Выслушав её, Гоголь спросил меня:

− А как вы думаете, кто этот господин? Каких свойств и характера человек?

− Право не знаю, − отвечал я.

− А вот я вам расскажу. − И тут же начал самым смешным и оригинальным образом описывать мне сперва наружность этого господина, потом рассказал мне всю его служебную карьеру, представляя даже в лицах некоторые эпизоды его жизни. Помню, что я хохотал, как сумасшедший, а он всё это выделывал совершенно серьёзно. За сим он рассказал мне, что как-то одно время они жили вместе с Н.М. Языковым (поэтом) и вечером, ложась спать, забавлялись описанием разных характеров и за сим придумывали для каждого характера соответственную фамилию. «Это выходило очень смешно», − заметил Гоголь и при этом описал мне один характер, которому совершенно неожиданно дал такую фамилию, которую печатно назвать неприлично. − «И был он родом из грек!» − так кончил Гоголь свой рассказ.

Утром, во время пути, при всякой остановке выходил Гоголь на дорогу и рвал цветы, и ежели при том находились мужик или баба, то всегда спрашивал название цветов; он уверял меня, что один и тот же цветок в разных местностях имеет разные названия и что, собирая эти разные названия, он выучил много новых слов, которые у него пойдут в дело.

За несколько станций до Москвы я решился сказать Гоголю:

− Однако знаете, Николай Васильевич, ведь это бесчеловечно, что вы со мной делаете. Я всю ночь не спал, глядя на этот портфель. Неужели он так и останется для меня закрытым?

Гоголь с улыбкой посмотрел на меня и сказал:

− Ещё теперь нечего читать; когда придёт время, я вам скажу.

Мы расстались с Гоголем в Москве. Я отправился в Петербург и от друзей Гоголя часто получал известия, что Гоголь усердно работал. Зиму 1851 года Гоголь провёл в Одессе, откуда вернулся в июле месяце в Москву и привёз с собою уже совершенно оконченный второй том «Мёртвых душ».

Осенью 1851 года, будучи проездом в Москве, я, посетив Гоголя, застал его в хорошем расположении духа, и на вопрос мой о том, как идут «Мёртвые души», он отвечал мне:

− Приходите завтра вечером, в восемь часов, я вам почитаю.

На другой день, разумеется, ровно в восемь часов вечера я был уже у Гоголя; у него застал я А.О. Россета, которого он тоже позвал. Явился на сцену знакомый мне портфель; из него вытащил Гоголь одну довольно толстую тетрадь, уселся около стола и начал тихим и плавным голосом чтение первой главы.

Гоголь мастерски читал: не только всякое слово у него выходило внятно, но, переменяя часто интонацию речи, он разнообразил её и заставлял слушателя усваивать самые мелочные оттенки мысли. Помню, как он начал глухим и каким-то гробовым голосом: «Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдалённых закоулков государства? Что же делать, если уже таковые свойства сочинителя и, заболев собственным несовершенством, уже и не может он изображать ничего другого, как только бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши и отдаленных закоулков государства? И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок». После этих слов внезапно Гоголь приподнял голову, встряхнул волосы и продолжал уже громким и торжественным голосом: «Зато какая глушь и какой закоулок!»

За сим началось великолепное описание деревни Тентетникова, которое, в чтении Гоголя, выходило как будто писано в известном размере. Все описания природы, которыми изобилует первая глава, отделаны были особенно тщательно. Меня в высшей степени поразила необыкновенная гармония речи. Тут я увидел, как прекрасно воспользовался Гоголь теми местными названиями разных трав и цветов, которые он так тщательно собирал. Он иногда, видимо, вставлял какое-нибудь звучное слово единственно для гармонического эффекта.

Хотя в напечатанной первой главе все описательные места прелестны, но я склонен думать, что в окончательной редакции они были ещё тщательнее отделаны.

Разговоры выведенных лиц Гоголь читал с неподражаемым совершенством. Когда, изображая равнодушное, облепившееся состояние байбака Тентетникова, сидящего у окна с холодной чашкой чая, он стал читать сцену происходящей на дворе перебранки небритого буфетчика Григорья с ключницей Перфильевной, то казалось, как бы действительно сцена эта происходила за окном и оттуда доходили до нас неясные звуки этой перебранки.

Граф А.П. Толстой сказывал мне, что ему не раз приходилось слышать, как Гоголь писал свои «Мёртвые души»: проходя мимо дверей, ведущих в его комнату, он не раз слышал, как Гоголь один, в запертой горнице, будто бы с кем-то разговаривал, иногда самым неестественным голосом. В черновых рукописях видны следы этой работы. Каждый разговор переделывался Гоголем по нескольку раз. Зато как живо, верно и естественно говорят все его действующие лица [Неужели этой одной приметы недостаточно, чтобы признать напечатанные варианты поддельными? Неужели мог Гоголь, хотя бы начерно, написать такую фальшь, как, например, разговор крестьян Тентетникова и суждение их о барине:

− А что, дядя Пахом, барин-то говорит красно?

− Ну, известно, что красно, ведь их только тому и учат.

− А что, бишь, он говорил, − я стоял подальше и не расслышал?

− Ну, а бог ведает, что он баял. Что-то похоже на то, как отец Афанасий в церкви бает. Вестимо, книжки эти не по нам.

Бабы тоже рассуждали:

«− Ишь какой он добренький − и в ноги-то кланяться не даёт. А уж молодец какой! И всё говорит: полюбите меня, полюбите, да и посматривает на девок. Ишь ты какой, весь в покойника отца» («Русская старина», 1872 г., январь, стр. 95).

Неужели мог Гоголь, вместо великолепного описания въезда Тентетникова в деревню написать такую безграмотную, сентиментальную ерунду, как например:

«И вдруг забилось у него сердце. И ему живо представились все подробности его счастливого детства, и он увидел себя малюткой, которого вёл за руку отец, гуляя по полям; и он увидел мать, выходящую навстречу отцу, возвращающемуся с усталым малюткой, и он почувствовал себя на руках матери, которая прижимала его к сердцу и спрашивала с нежностью, не слишком ли он устал» и т. д. («Русская старина», 1872 г., январь, стр. 94).].

Рассказ о воспитании Тентетникова, сколько мне помнится, читан был Гоголем в том виде, как он напечатан в первом издании 1855 года. Причина же выхода в отставку Тентетникова была гораздо более развита, чем в тех вариантах, которые до нас дошли. Но ничего подобного на глупые анекдоты о директорской шинели и галошах и о Сидоре Андреевиче, вставленных в варианты, изданные в 1872 году, не было и быть не могло; ибо причина выхода в отставку Тентетникова имела весьма глубокое нравственное основание.

Помню, что это место в чтении Гоголя особенно меня поразило по тонкости его психического анализа борьбы, происходящей в благородной душе молодого человека, с возвышенными чувствами и бескорыстными желаниями добра и пользы поступающего на службу. Таким был Тентетников, − не нужно забывать, что под влиянием чудного наставника развилось пылкое сердце мальчика и пробуждены были в нём все честные, благородные порывы и стремления; но Тентетников лишился своего наставника, когда «ещё не успел образоваться и окрепнуть начинавший в нём строиться высокий внутренний человек; что, не испытанный измлада в борьбе с неудачами, не достигнул он до высокого состояния возвышаться и крепнуть от преград и препятствий; что растопившийся, подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки». Поэтому, ещё в школе, когда изменился характер преподавания и воспитания, он благодаря природному уму чувствовал, что не так должно преподавать, но как − не знал, и он «повесил нос». Но, по мере того как приближалось время к выпуску, сердце его билось. Он говорил себе: «Ведь это ещё не жизнь, это − только приготовление к жизни, настоящая жизнь на службе». Там подвиги − и он жаждет их. С таким настроением поступает Тентетников на службу. С рвением принимается за работу. Прежде всего его несколько смущает механизм занятий, которому, ему казалось, придают слишком большое значение. Но он с этим примиряется в надежде всё-таки добраться до сути дела, где найдёт пищу своим благородным стремлениям и где, может быть, его ожидают подвиги. Он принимается за дело, как бы оно ни казалось вначале мелким. Действительно, уже в должности столоначальника у него в руках дела, направление которых уже много от него зависит. Он пишет, пишет новые законы, пишет распоряжения о благоустройстве отдаленнейших мест, о которых не имеет ни малейшего понятия. Пишет заочно наказы, разрешающие участь целого народонаселения, о действительных нуждах которого он ничего хорошенько не знает. Решает на бумаге дела людей, живущих за три тысячи верст. Ум и совесть говорят ему, что тут есть какая-то фальшь и что из всего этого может произойти много вздору, при всём желании его добра и пользы. Он чувствовал, что не так следовало бы итти делам, а как − не знал. И он утратил веру в службу. Вот разгадка, почему Тентетников «свыкнулся с службой: но только она сделалась у него не первым делом и целью, как он полагал было вначале, но чем-то вторым. Она служила ему распределением времени, заставив его более дорожить оставшимися минутами». При таком настроении, легко мог Тентетников подчиниться влиянию людей раздражённых и наискиваться на неприятности. При первом случае он выходит в отставку.

Вот тема, которая развита была Гоголем с поразительною живостию, − Тентетников выставлен был лицом в высшей степени симпатичным. Утратив веру в свой идеал, чувствуя себя безоружным в борьбе с неразрешимыми противоречиями, он, может быть, по примеру других, окончательно и примирился бы с ними, чиновное честолюбие взяло бы верх над голосом совести, ежели бы не представилось воображению его другое поприще деятельности, ещё не испытанное им, но заманчивое по обилию средств к практическому приложению всего запаса, добрых и благородных намерений, которыми полна была душа его. Он поехал в деревню.

Чудное описание этой деревни в чтении Гоголя выходило так прелестно, что когда он кончил его словами: «Господи, как здесь просторно!» то мы, оба слушателя, невольно вскрикнули от восхищения.

Затем приезд Чичикова, разговор его с Тентетниковым и весь конец первой главы, сколько мне помнится, Гоголь читал совершенно согласно с текстом издания 1855 года. Окончив чтение, Гоголь обратился к нам с вопросом:

− Ну, что вы скажете?

Будучи под впечатлением тех прелестных картин и разнообразных описаний природы, которыми изобилует первая глава, я отвечал, что более всего я поражён художественной отделкой этой части, что ни один пейзажист не производил на меня подобного впечатления.

− Я этому рад, − отвечал Гоголь и, передав нам рукопись, просил, чтобы мы прочли ему вслух некоторые места.

Не помню, г. Россет или я исполнил его желание, и он прислушивался к нашему чтению, видимо, желая слышать, как будут передаваться другими те места, которые особенно рельефно выходили при его мастерском чтении.

По окончании чтения г. Россет спросил у Гоголя:

− Что, вы знали такого Александра Петровича (первого наставника Тентетникова) или это ваш идеал наставника?

При этом вопросе Гоголь несколько задумался и, помолчав, отвечал:

− Да, я знал такого.

Я воспользовался этим случаем, чтобы заметить Гоголю, что, действительно, его Александр Петрович представляется каким-то лицом идеальным, оттого, быть может, что о нём говорится уже как о покойнике, в третьем лице; но как бы то ни было, а он, сравнительно с другими действующими лицами, как-то безжизнен.

− Это справедливо, − отвечал мне Гоголь и, подумав немного, прибавил: − Но он у меня оживёт потом.

Что разумел под этим Гоголь − я не знаю.

Рукопись, по которой читал Гоголь, была совершенно набело им самим переписана; я не заметил в ней поправок.

Прощаясь с нами, Гоголь просил нас никому не говорить, что он нам читал, и не рассказывать содержания первой главы.

Несколько дней спустя я уехал в Петербург, обещав Гоголю, в случае нужды, хлопотать в цензурном комитете, ежели будут какие-либо препятствия к новому изданию полного собрания его сочинений.

Пришла осень. От общих наших друзей узнал я, что Гоголь хандрит; но никто не беспокоился насчёт его здоровья. В феврале месяце 1852 года, по случаю кончины дяди моего, отправился я в отпуск в Москву. Прибыв туда 22-го февраля, я поражён был известием, что накануне скончался Гоголь и что перед смертью он сжёг вторую часть «Мёртвых душ».

Вечером я отправился к А.П. Толстому. Тело покойного Гоголя уже было вынесено в университетскую церковь. От гр. Толстого узнал я все подробности странной кончины Гоголя и все подробности сожжения рукописей. Убитый горем, вошёл я в комнату, среди которой стояла кафельная печь, ещё полная пепла от сгоревшей рукописи. Перед аналоем протяжно читал дьячок псалмы, и в ту минуту, когда я отворил заслонку печи, услышал я могильным голосом произнесённые слова:

«И бых яко человек не слышай и не имый во устех своих обличения».

II

Не стану описывать здесь похорон Гоголя. Много было толков и суждений о последних днях его и о причинах, побудивших его сжечь труд всей своей жизни. Много об этом было писано и напечатано. Всякий судил под влиянием личных впечатлений. Самые близкие друзья Гоголя не знали его, и в этом сознались уже после его смерти.